

Мария Головановская

Дорогая Марго

Милая, дорогая моя Марго, вот уже четыре года, как Вы ушли от нас, покинули этот мир. Я часто спрашиваю себя, правильно ли Вы поступили, представляя все так, как будто бы Вы сделали это по доброй воле. На самом деле Вы умерли вследствие тяжелейшего недуга, - у Вас был рак, и все мы помним, как это происходило. Ваша болезнь продолжалась более трех лет, и Вы прошли по всему страшному пути, на который обрекает свою жертву эта ужасающая из болезней. Я говорю несколько высокопарно, но мне кажется, что Вас это не должно смутить или покоробить. Я выбираю стиль соответственно случаю. Виделись мы с Вами не часто, хотя и регулярно, но я должен признаться, что после нашего знакомства, происшедшего самым обычным и в то же время удивительным, как и каждая случайная встреча, образом (лето, курорт, море), Вы прочно вошли в мою жизнь, в мое представление об окружающем меня человеческом пространстве, и после Вашей смерти, столь ожидаемой и даже долгожданной в последние месяцы жизни, которую кроме как адом иначе не назовешь, у меня появилась странная, хотя может быть и знакомая многим одиноким людям, привычка разговаривать с Вами, причем не только рассказывать о себе, но и расспрашивать Вас. Так правильно ли Вы, дорогая Марго, поступили, точнее поступили бы, если бы покинули нас по своей воле?

За эти четыре года не переменялось почти что ничего, и в то же время переменялось очень многое. Знаете, так бывает? В Вашей комнате стоит огромная Ваша фотография вся в белых цветах. Она стоит на полу, и в комнате чудесный цветочный аромат. Ваша квартира производит впечатление покинутого всеми жилища, хотя в ней по-прежнему живет Ваш муж, превратившийся почти что в призрака за эти четыре года. Раз в неделю к нему приходит домработница, приносит продукты, готовит еду, убирает дом. На его письменном столе тоже стоят Ваши фотографии - две или три - не помню, в прекрасных, кажется, серебряных рамочках. Есть Ваши фотографии также и в спальне, я как-то украдкой заглянул туда и увидел их, там Вы совсем молодая, лет двадцати-тридцати - не более, я такой Вас никогда не знал. Он живет, будто ни до чего не дотрагиваясь, предметы остаются на своих местах месяцами, и, когда я изредка захожу к нему, он всегда меня принимает, сидя в одной и той же позе, в одном и том же кресле. Я иногда думаю, что он сидит так без движения после моего ухода до следующей нашей встречи. Двор перед вашим домом никак не переменялся, если только сделался чуть более грязным и чуть более зеленым - деревья и кустарники за четыре года немного подросли, окрепли, кроны попышнели и чуть подукрасили этих некогда выглядевших заморышами древесных эмбрионов. Старушки на скамейках перед парадным все так же судачат, хотя у старушек этих другие лица, те старушки уже

исчезли, и на их место заступили новые, следующее поколение старушек. На остановке по-прежнему выбиты стекла, автобусы почти не ходят, улица в любое время суток практически пуста, кто живет в этих бетонных скорлупках, ходят ли эти люди по улице - не знаю, почти никогда не вижу их, а если кого когда и встретишь, отчаянно дожидаясь автобуса, то только бурого цвета пьяницу, всегда предлагающего купить какую-нибудь дрянь за бесценок. Мертвое покинутое место, добраться до которого - тяжело, а выбраться наружу - и подавно. Единственное, что как-то занимает меня и успокаивает, когда я оказываюсь здесь, это воспоминания о Вас, дорогая Марго, я будто даже вижу, как Вы выныриваете из вонючего подъезда, идете мимо старух, затем по улице к этой почти потерявшей связь с реальностью остановке, я вижу Вас вначале издали, Ваш силуэт, Вашу фигуру - обычную фигуру пятидесятипятилетней женщины, затем Вы приближаетесь, и я вижу столь любимое мною Ваше лицо - красивый овал, благородной формы нос, карие глаза, каштановые волосы, пикантные усики - пушок над верхней губой, родинку на правой щеке - крупную и, наверное, ненавидимую Вами. Вот Вы подходите ко мне и мы стоим с Вами вместе, мы ждем автобуса, чтобы уехать отсюда, здесь все мертво, все уродливо, а Вы столь изысканы, столь утончены, Ваш призрак куда живее и привлекательнее всего того, что окружает нас, Вас и меня.

Как я уже сказал, нового ничего. Как и прежде я хожу на свою работу два раза в неделю, редактирую статьи, как правило, странного вида авторов, статьи, трактующие проблему эталонов меры и всяческих других величин. Существуют ли эти проблемы на самом деле, я так и не знаю, так и не выяснил, хотя редактирую статьи, к примеру, об истинной длине метра уже без малого восемнадцать лет. Моя работа заключается в том, чтобы выправить, словно по линейке, витиеватую мысль автора, сделать ее как бы более понятной, хотя они и так друг друга понимают, эти авторы, и наверное вообще могут понимать без слов и без цифр. Авторы эти, как правило, не очень опрятные люди, не очень чистоплотные, хотя может показаться, что такие проблемы могут обсуждать только истинные педанты. Их изношенные и истертые до дыр портфели пахнут кожей и грязью, дужка очков непременно перетянута синей изоляционной лентой, а рукава рубашки махрятся и выпускают нити, обнажая беловато-бурую основу манжета. Всю неделю я сижу и редактирую дома, поглядываю на стоящие на столе часы, хожу на кухню выпить чаю, перекусить, стараясь успеть сделать за день нужное количество страниц. Два раза в неделю, как я уже сказал, я хожу в присутствие и встречаюсь в круглом читальном зале с круглыми темными дубовыми столами и бледными фресками под потолком с этими авторами-близнецами. Пока авторы бьются над исправлением подчеркнутых мною фраз - их надо переделывать целиком, исправлением отдельного слова там не обойтись, я разглядываю фрески - женоподобные лица античных героев, крупные листья лавра, газелей, амфоры. Я, помнится, когда-то рассказывал Вам

о моей работе, и Вы вполне равнодушно заметили, что не понимаете, каким характером должно обладать, чтобы заниматься этим и один год, и второй, и третий... Но ходить на работу мне довольно-таки приятно, это вносит какое-то разнообразие в мою жизнь, какой-то своеобразный ритм - два раза в неделю один и тот же ритуал одевания и сборов, а потом редакция наша располагается в чудесном маленьком особнячке, и фрески в читальном зале, равно как и разносимые эхом голоса и скрипы, (пол плиточный, и малейшее перемещение стула сопровождается ужасно пронзительным звуком) заставляют чувствовать некий жизненный объем, пространство времени, его полифонию, об абсолютной единице которого мои странные авторы написали множество бестолковых статей.

Итак, дорогая Марго, в том, что касается работы, ничего не переменялось, равно как и в самой моей жизни. Я по-прежнему живу один, и Вы прекрасно помните, как это получилось. Иногда и теперь на меня накатывают воспоминания о прошлом, иногда они кажутся даже более реальными, чем настоящее, но я не хочу сейчас говорить о них, я скорее бы обсудил с ВАМИ сами феномены прошлого и будущего. У Вас, Марго, будущего, доступного моему пониманию, нет. У меня впереди большой ли, малый ли отрезок времени есть. Мне всегда кажется и казалось, что то, что будет дальше, равно по продолжительности тому, что уже было. Я понимаю, что считать так в моем возрасте - глупо, ведь я старше Вас. Будущее, как и прошлое, кажется мне почти нереальным, ведь я хоть и очень переменялся за последние десять лет, но эти перемены только чисто внешние, и я не могу представить себе, что скоро, через те же десять лет, я превращусь в старика, и каждый шаг станет для меня осязаемым усилием. Я просто не верю в это. Что касается прошлого, в его движении, самого течения прошлого для меня будто и не существует. Если спрессовать все мои воспоминания о прошлом, получится год, от силы два, а ведь я прожил не один десяток лет. Будущее и прошлое оставляют в настоящем одинаковый, почти что один и тот же след. И только в настоящем и можно отыскать эти следы, будущее переживается как прошлое, прошлое как будущее, и у этой реки нет берегов, нет и самой реки, нет взмаха руки и движения по ее то ли теплой (прошлое), то ли холодной (будущее) воде, а есть только еле различимый привкус во рту, мятно-холодящий - будущего, пресно-тепловато-женьшеневый - прошлого. Я знаю, что, если бы могли, то страстно бы возражали мне. Я знаю, что Вы говорили бы, что прошлое исчерчивает, ловит настоящее сетью как рыбу, я знаю, что были бы даже раздражены, приведя мне, наконец, и последний аргумент: когда нет будущего, остается прошлое. И Вы, конечно же, вскользь отметили бы и то, что обсуждать это с Вами совершенно неприемлемо, поскольку Вас больше не существует. И Вы были бы правы, дорогая Марго, простите меня, простите.

Интересно, почему именно сегодня я решил опять говорить с

Вами? Обычный осенний день, на столе тарелка яблок. Воздух в комнате ароматный, кисло-сладкий, розовый, чудесный. Вы опять не приснились мне, Вы вообще не имеете обыкновения сниться мне, почему? Ведь это единственная возможность повстречаться, увидеться. Осень - пора плодов. Осенью многие стебли и ветви разрешаются от бремени. И постепенно становится не на что смотреть, ни цветения, ни плодов, ни даже листьев, поэтому и света становится мало, если не на что смотреть, зачем свет? Но пока беспроблемная ночь не наступила еще, пока еще в комнате пахнет яблоками, закат долог - конец сентября, от восхитительных кленовых аллей захватывает дыхание, свет мягок - бесконечный перелив, тихая нежная музыка, и на душе покой перед долгой зимней спячкой, так что же, что заставило меня говорить сегодня с Вами, с ушедшей, с безответной, с никогда не бывшей моей?

Жажда раскрыться, как раскрывается цветок, подставляя свою сердцевину под палящие солнечные лучи? Опустошиться разговором? Снять с себя накипь дней всеразъедающей едкостью откровенности? Молчание Ваше, дорогая Марго, впрочем как и отсутствие ваше, плотное, тяжелое, давящее, являют собой редкий пример абсолютного, как и всякое молчание, всякое отсутствие, с которым может столкнуться человек. Ваше молчание, Марго, засасывает меня словно обжигающая холодом глубина, опаленная другим солнцем, леденящим, изрыгающим озноб и оцепеняющее сияние, я делаюсь многословным, и мне хочется говорить без умолку. Мне хочется рассказывать, и любой, совершенно любой сюжет вдохновляет меня. Но, когда я говорю с Вами, я должен делать тщательнейший отбор, поскольку Ваше молчание - мой арбитр и мой судья. Если бы Вы сейчас сидели напротив меня, то я, чтобы позабавить Вас, стал бы описывать цвет пара над моей чашкой чая, или поверхность линейки без делений, лежащей передо мной на письменном столе - кажется самодельная полоска металла, годящаяся лишь для того, чтобы соединить две уже имеющиеся точки, но отмерять по ней что-либо, как Вы сами понимаете, невозможно, эта линейка осталась мне от отца, что он с ней делал - неизвестно, я рассказал бы Вам о том, что в моём правом кармане лежит использованный билет со счастливым номером, я не выкинул его из чистого суеверия, белоснежный носовой платок, моя мама в своё время приучила меня к безупречным носовым платкам, валидол в старой ещё военного времени алюминиевой коробочке, а затем бы я безошибочно перечислил все, что находится в Вашей сумочке и не забыл бы ни пудреницу, ни щипчики для бровей, ни бумажную салфетку для протирания рук, пропитанную ароматной влагой, я работал бы перед Вами как фокусник, видящий насквозь непроницаемые для глаза предметы, и Вы удивлялись бы моему искусству, но поскольку я больше никогда не увижу, не услышу и не почувствую Вас, я должен рассказать Вам нечто такое, что отражалось бы Вашим небытием, было бы ему созвучно и в то же время объединяло Вас и меня. Мне кажется, у меня есть для Вас

одна такая история, так что слушайте и сочувствуйте мне, моя милая, догорая Марго.

Осенью часто вспоминается лето, зимой - осень, весной зима. Или ещё так: летом вспоминается прошлое лето, зимой - прошлая зима и т.д. Я во всяком случае вспоминаю именно так, вот и сейчас я вспомнил закончившееся будто вчера лето, а ведь прошел уже целый месяц. В июне, дождливом и кислом, я не уезжал из города, работал, а вот в июле отправился отдохнуть в деревню к пригласившим меня друзьям в надежде полюбоваться местными пейзажами, а главное прекрасным монастырем, который находился неподалеку и о котором я был наслышан. Название монастыря не так уж важно, я не буду упоминать его, да и какое значение могут иметь для Вас наши названия?! Я также не буду описывать монастырь, кто знает, может наши красоты растроят Вам душу, а может наоборот оставят настолько равнодушной, что Вы вообще перестанете меня слушать. Ведь Вы слушаете меня сейчас, Марго, я не ошибаюсь, ведь слушаете? В монастыре этом находилась, да и находится, вероятно, теперь колония глухонемых мальчиков-сирот, когда я впервые бродил там, то был поражен: тишина, покой, благолепие. И это несмотря на то, что повсюду ходили мальчики-подростки. Потом я увидел, как они разговаривают, и понял в чем дело. Среди этих подростков был один, из-за которого, представляете Марго, я чуть было не натворил смехотворных и чудовищных глупостей. Я чуть было не потерял голову, да, наверное, даже и потерял, поскольку чувствовал, когда он появлялся, какое-то странное оживление мыслей, головокружение и подташнивание. Словно странный недуг овладевал мною, с каждым часом всё более входивший во вкус и набиравший силу. Я сделался невероятно чувствительным, мне казалось, что ветер продувает всего меня насквозь, что солнечные лучи вонзаются в меня, как стрелы, и я казался себе бедным Себастьяном с закатившимися глазами, когда я увидел его, то был ослеплён, и совершенно потерял из вида свой собственный образ (стареющий, лысоватый, полноватый, потноватый, рот забит коронками, на глазах - очки), я сейчас как раз подумал, что хорошо сделал, обрисовав Вам свой образ, ведь даже если умершие и сохраняют какую-то память, то сохранила ли Ваша память хоть что-нибудь обо мне? Не знаю. Не уверен. Мое воображение не остывало ни на минуту. Я путался в догадках, пытаюсь вообразить его характер. Был ли он у них заводилой, этот розовощекий красавец, пышущий здоровьем и физической мощью, этот ловелас с воспаленным алым ртом, лишенный дара речи и хоть какого-нибудь присутствия донны или сеньоры, кроме рябой толстой кухарки, которая к тому же, кажется, ещё и прихрамывала. Или, наоборот, он был тихоня, скряга, козел отпущения. Я наблюдал за ним пристально с жадностью, когда они кололи дрова почему-то такими же онемевшими как и они сами топорами (ни звука, ни скрипа, ни щепки), он работал наравне со всеми без усердия и ленцы, равнодушно. Я подсматривал за ним, когда все они таскали

какие-то мешки со двора в подвал поварни, он, как и все, брал и волок свой мешок. Никуда не пропадал, появлялся во дворе тотчас же, как опускал свой мешок в погреб. Когда они играли в мяч - в футбол, в волейбол - я не мог разобрать, лучше других он играет или нет, я просто не знал правил, принятых в подобных играх. Все его поведение было недоступным моему пониманию. Я пытался определить его характер по выражению глаз, больших с темными под цвет волос ресницами, но когда эти глаза были обращены на меня, они не выражали ничего. Или, может быть, я просто не умел определить их выражения. Мои долгие наблюдения не дали мне ничего, я ничего не мог узнать о нем, не говоря уже об имени, и тогда, наконец, я решил вступить в единственно доступный для меня контакт с ним, подарить, дать ему что-нибудь, а как иначе, что ещё, Марго, я мог придумать тогда? Ничего! Я сидел на поваленном дереве, смотрел, как он медленными, почти балетными по плавности движениями белит трапезную и ломал голову, что бы такое предложить ему, пышноголовому, кучерявому, чудесному, я не нашел ничего лучшего, Вы слышите Марго, я не нашел ничего лучше, (как же я Боже мой, как же я потом проклинал себя за это!) чем приблизиться и протянуть ему сигарету, от которой он, конечно же, отказался, мотнув головой и улыбнувшись, а потом он бросил кисть, тронул за плечо приятеля и что-то долго рассказывал ему на пальцах.

Что же я нашел в этом мальчике, одетом в сиротские из грубой материи серые брюки? Как Вы сами понимаете, я задавал себе этот вопрос бесчисленное количество раз, и каждый раз находил разный ответ. То мне казалось, что я узнавал в нем себя, свою молодость, хотя сам я никогда не отличался ни такой яркостью, ни такой силой натуры, усугубляемые ещё более тем, что он не говорил и не слышал. Когда я считал, что это юность моя притягивает меня и манит в нем, мне мерещилось, будто я слышу приветствие, эхо, посланное мною мне же несколько десятков лет назад и только теперь полученное. Я казался себе то Дорианом Греем, старым, немощным, больным, вождельно созерцающим портрет, где он изображен юношей, то престарелым Нарциссом, видящим в реке себя молодого, заглядывающего в прошлое, видящего в суровых водах Леты отражение своей былой красоты и былых страстей. Когда мне всё это приходило на ум, Вы можете представить себе, дорогая Марго, как я потом смеялся над собой: я стареющий, лысеющий, полноватый, плотноватый сравнивал себя с Дорианом Греем и с Нарциссом, я, редактирующий тонкий выходящий раз в три месяца на плохой бумаге журнал об эталонах длины? Абсурд! Марго, я просто лишился рассудка, понимаете Вы это, понимаете? Отказываясь от этой версии, я тут же принимал другую: я поддался соблазну добиться невозможного. Чего же? Заговорить с ним. Услышать и быть услышанным. Стать для него другом, близким, нужным человеком. Выделиться из фона и стать фигурой. Всякая невозможность таит в себе множество соблазнов, она возбуждает

гордыню, берedit воображение, она бесконечна, загадочна, она - само желание, только возрастающее от тщетных усилий удовлетворить его, и в конечном счете, она, невозможность, и придумана для того, чтобы вызвать жажду, но не дать ни глотка, чтобы заставить почувствовать шершавую поверхность холодной стены /лицом к стене!/, которая обязательно возникнет, обозначая и охраняя границы возможного и допустимого. У меня были и другие объяснения. Я не буду перечислять их все, Марго, важно то, что никакие рассуждения не охлаждали меня, и мой мозг порождал все новые и новые планы сближения с мальчиком. Однажды мне пришла в голову совсем уж безумная идея: усыновить. "Книги, образование, совместные походы в кино, - бормотал я про себя, - обратная дорога в поезде. Выучить его язык. Потом нянчить внуков, ласковых девочек с косичками - внушек, драчливых мальчиков - внуков. Соединить по отцовской линейке две точки одной прямой, образовать единую общую линию." Так я думал, Марго. Эта идея полностью владела мною вечер и ночь. Я нашел наконец выход: не искать разрешения ситуации "я - он" в замкнутом пространстве, разделенном на две части непреодолимой стеной, а превратить ее в обычную, почти что бытовую проблему, для разрешения которой существуют хорошо накатанные пути. Утром, Марго, так и не обретя здравого смысла, после бесонной ночи, натошак я отправился, словно на жизненно важное медицинское обследование, в монастырь, я решил смело, твердо, спокойно и уверенно обратиться к начальнику колонии и навести все справки. Ноги сами несли меня. В последние несколько дней мальчик, заметив мое пристальное внимание, начал избегать меня, я крался за ним как вор. Теперь же я спешил, зная, что всей неловкости и нелепости будет положен конец: у меня нет таких намерений, которых я бы стеснялся и которые нужно было бы скрывать.

Мальчики в озере монастыря ловили рыбу. Подвернув брюки, многие из них стояли по колено в воде. Я подошел ближе и увидел в алюминиевом ведре на берегу множество золотистых рыбешек, каждая с человеческую ладонь. Мальчики так были увлечены рыбалкой, что никто из них не заметил моего приближения: шагов они слышать не могли, а глаза были прикованы к поплавкам. Первым меня заметил "мой мальчик", он вздрогнул, и лицо его сделалось злым. Он что-то быстро сказал на пальцах своим друзьям, и по их лицам побежали отвратительные кривые ухмылки. Я испугался. Час был ранний. Мы были одни...

Вот такая нелепая и глупая история приключилась со мной прошлым летом, моя милая, дорогая Марго. Сейчас, рассказывая ее, я впервые вспомнил эти события в таких подробностях, видите, каждая встреча с Вами неумолимо возвращает меня назад, в прошлое. По возвращении я довольно быстро забыл все эти душевные приключения, и только сейчас вспомнил, чтобы рассказать о них. Я думаю, Марго, что это, наверное, мое одиночество, в котором я давно уже обжился и которое также

удобно мне, как старый разношенный башмак, творит иногда со мной такие злые шутки. Собственно и с Вами то же, хотя и не совсем, рано или поздно я обязательно присоединюсь к Вам. Что касается моего одиночества, то я давно уже изучил его характер, приручил это иногда капризное, иногда ласковое и сговорчивое существо. Как я уже сказал, мы ладим с ним, да и как может быть иначе, ведь я уже ни один год с микроскопом в руках разглядываю его клетки, изучаю его строение, коридоры и лабиринты, которые образуют хитросплетения его сосудов. Я его пациент и лекарь, и этим сегодняшним разговором с Вами я в который раз взрыхлил почву у его подножья, собрал и вкусил его плодов.

Вот и все, дорогая Марго, что я имел сообщить Вам, я заканчиваю наш разговор так, как обычно заканчивают длинное письмо на нескольких страницах мелким почерком с обеих сторон листа. Впрочем, может быть это был и не разговор, может быть это и вправду было письмо, и мне теперь остается только подобрать марку и приклеить ее на конверт. Для Вас, Марго, я бы выбрал марку с изображением цветка, ромашки или ландыша, и таким образом был бы не только, я надеюсь, приятным собеседником, но и галантным кавалером. Точку не произнести, и я молча кланяюсь Вам, изнуренный и несколько опустошенный нашей беседой, я не говорю "прощайте", а только "до свидания". До свидания, моя милая, мо дорогая Марго.

Август 1992